

строки, как «Девчонки с комсомольских строек, я не забуду вас, нестройных, одетых в робы креозотные, обутых в сапоги кирзовые», такие рифмы, как «креозотные — кирзовые», «прочность — подлость», такие ритмы, как чеканный ритм «марш-броска», могли принадлежать и Е. Евтушенко, и Р. Рождественскому, и Р. Казаковой.

Безусловно, своя, «куняевская» мета лежала и на этих строках — быть может, больше гордости и уверенности, что ли: «Пишу не чью-нибудь судьбу — свою от точки и до точки...», спокойного желания серьезно разобраться, где «грохот времени, где прдза, где боль, где страсть, где просто поза, а где свобода и полет». Но одновременно уживались и треск общих мест, и суховатое, не греющее пламя холодной риторики, и склонность к эффектным формулам.

Наивно думать, что это были просто издержки манеры, стиля, темперамента — полемического и декларативного. Вся «соль» заключалась в упорном отношении к жизни, в спрямленном подходе к сложным проблемам, таким, как человек и время, человек и природа, добро и зло (а именно постановкой этих общественно важных, социальных воп-

стый зов человека полным смысла летит в темноту».

И когда лирический герой произносит: «Я люблю тебя, время, но все же не настолько ты правишь судьбой, чтобы сделаться чести дорожке, чтоб заискивать перед тобой», — то это признание менее всего напоминает «формулу». Высокая риторика оплачена и обеспечена художнически. Это — поэзия:

Есть золото славы
и медь похвалы,
есть жизни обыденный лепет,
но с углем под серым
налетом золы
целуется северный ветер.

Есть время, которое
просит у нас
отдать ему силу и волю...
Но вот засверкала звезда,
как алмаз,
над линией береговой.

Это «но» примечательно и ново в поэзии Куняева 70-х годов. Если продолжить мысль поэта, переведа ее на условный язык логических категорий, — жизнь бесконечно многообразнее, прекраснее, сложнее всех наших притязаний к ней. Она властно влечет к себе художника, и трудно не поддаться ее вечному зову:

Пусть белые ночи
меня разлучат
со всеми, кто близок
и дорог...

ФОРМУЛА ДОВЕРИЯ

росов Куняев сразу же заявил о всей серьезности своих намерений в литературе).

Выход был один — тот, что испокон веков движет художником, — познание жизни во всем ее многообразии.

И поэт не уклонился от него. Каждая его книга стала «звеном» на этом пути познания жизни: ее «ночного странства» (1970), ее «вечной спутницы» (1973) — души, совети человека, звеном, которое в конце концов прочно соединило с «рукописью» (1977) (жаль, что названия этих книг — символических вех на пути поэта — не сохранены в «Избранном»).

Читая его, отчетливо ощущаешь рост поэта. Он узнаваем во всех своих стихах и одновременно нов, неожидан.

Да, он по-прежнему поэт волевого жеста, склонный ставить в лирике вопросы публицистически страстно, полемически заостренно: «Почему, никого не любя, о себе ты так пылко хлопчешь? Хочешь, чтобы любили тебя? Милый мой, слышом многого хочешь! Хочешь, чтобы любили? За что? Не за то ли, что словом недужным бередил в человеке все то, чтобы сделать его безоружным перед временем, перед судьбой...» Но слушаемся в ответ: «Ты, конечно, в желаниях волен, но чтоб кто-то был болен тобой — расплатись: будь и ты кем-то болен».

Как часто теперь у лирического героя Куняева возникает мысль о цене, которую нужно платить сегодня, ведь пора романтических порывов и иллюзий давно миновала. Цена за каждое прозрение в этом прекрасном и яростном мире, за победу над недугами собственной души, за право жить «в соседстве травы и металла».

Эта цена не умозрательна и не абстрактна: слишком много живых человеческих судеб встречалось поэту на дорогах XX века: Сибирь, Средняя Азия, Север, страны Европы.

Чем же измеряет автор эти человеческие судьбы — и свою собственную, и «смысл бесценных дней»?

Честь, долг, ответственность, разум... Они органически вошли в мироощущение поэта, в образную систему, в капилляры рифм, где «связать» — это и «сказать», эпитетов, где «живые мольбы» и «раскати-

Что делать,
коль гуси так звонко
на дальних Мегерских
озерах,
кричат

Вечное и современное, живое и мертвое, прекрасное и безобразное так тесно существуют в ней, что разять их невозможно, как невозможно отделить радость от боли, совесть от красоты.

«...И, пока я лежал под ножом, во дворе тополя распустились» — вот формула доверия к жизни, что исповедует теперь лирический герой Куняева.

Лежа на операционном столе, под ножом хирурга, и как бы заново потом возрождаясь к жизни, он переживает одно из самых удивительных ее явлений — «грозу в начале мая».

Думаю, что не случайно в названии стихотворения поставлена эта хрестоматийная тютевская строка. Она символизирует — по Куняеву — вечную живую жизнь и самой традиции русской классической литературы, которая утверждала свои высокие гуманистические принципы, не сбрасывая со счетов и любовь к «клепким листочкам», «голубому небу» — всей красоте и богатству внешнего мира...

Интересно, что причащение к традиции происходит у него как бы кружным путем. Через опыт поэзии XX века. Блок, Заболоцкий...

Куняев — автор одной из лучших, на мой взгляд, несмотря на то, что не бесспорной, статей о Заболоцком последнего времени. Вряд ли стоит судить эту статью с позиций одностороннего литературоведения, как это сделала М. Чудакова («Литературное обозрение», № 8, 1979). Статья Куняева — это статья поэта, имевшего глубоко внутреннее побуждение и причины обратиться к творчеству именно этого художника, а не другого.

Автор «Некрасивой девочки», «Старой актрисы», «Сна» оказался необходим поэту, чуждому душевных сантиментов, своей обостренной совестью, вниманием к внутреннему миру человека. Заболоцкий помог ему стать мягче, теплее — а следовательно, и справедливее — в главном. «Сквозь слезы на глазах и сквозь туман души весь мир совсем не тот, каков он есть на деле» — трудно поверить, что эти строки принадлежат

тому же поэту, что когда-то задиристо бросил: «Добро должно быть с кулаками».

Или такие стихи, исполненные психологического драматизма и яркой пластической изобразительности, новой для Куняева, как символические стихи о нищем тополе на углу, что «черной ветвью, как рукой, зажал кусок весны», или реалистический образ человека опустошенной души — «ветер, а не дух поет в нем, слезно в высохшей тростинке» (вот вам одна из метаморфоз, приключившихся в XX веке с тютевским «мыслящим тростником»), или современная притча об «источах зла» — они «не в том, что отошли ремесленник от ремесла и пахарь от земли, — а в том, что взмыленный Пегас упал у борозды и совести тяжелый пласт отпал от красоты»...

И чтобы уже закончить разговор о традициях и учителях, следует назвать еще одно имя. Современника, друга. Николая Рубцова.

Размышлением над его судьбой навеяно несколько стихотворений в сборнике: «Если жить начать сначала...», «Памяти поэта», «А что же он сделал, тот гений...». Но след, оставленный Рубцовым в поэзии Куняева, намного глубже. Думаю, не ошибусь, если скажу, что мысль «о тайной связи природы, родины, самих», так нежно и раскованно зазвучавшая в стихах Куняева конца 60-х — начала 70-х годов («Как посветлела к осени вода...», «Как много печального люда...», «Опять высокая вода...» и др.), родилась не без влияния рубцовской музыки.

Родина встречает
гололедом,
нежной стужей,
золотым народом,
синим ветром,
облаком седым...
Надо припадать
к ее заботам,
листопадам, лианам,
ледоходам,
и древним судьбам,
к планам молодым.

Именно в стихах о Родине в полной мере раскрылись такие глубоко потаенные черты дарования Куняева, как открытый лиризм, мелодичность, напевность стиха...

Эта сила авторского чувства к Родине, ее прошлому и настоящему, переплавившая в своем горниле и ложную риторику, и холодные абстракции, и жесткую рассудочность, и есть, наверное, самый серьезный «цитат» того «Избранного», которое представляет сегодня Куняев на суд читателя...

Впрочем, соучастие читателя в этом итоге, «результате» (в том смысле, как это понимал А. К. Толстой: «...Искусство не должно быть средством... в нем самом уже содержатся все результаты...») огромно. «Поэты неведомый друг» — так называется статья о читателе в сборнике «Свободная стихия» — сопровождал Куняева на всех этапах его творческого пути.

Разговор с ним, читателем, бывал разный — от суровой отповеди неразборчивым акусам до сокровенного признания. Но в одном его нельзя упрекнуть, этот разговор, — в равнодушии, беспристрастности: «...Грубая правда и нежные сны, лишь бы в приростные руки».

Как верно заметил автор вступительной статьи к «Избранному» С. Чупринин, сама позиция поэта, его убеждения рождались и прояснялись в этом «живом диалоге с читателем-современником».

Но не только они — гражданская позиция, убеждения. Новое художественное качество.

...Читая «Избранное» и сборник критических статей «Свободная стихия», размышляя над тем, как непросто складывался этот творческий путь, отчетливее понимаешь, что не только поэт нужен времени (а лучшие стихи Куняева выдерживают испытание временем), но и соучастие времени, традиций, читателя необходимо поэту, чтоб могла совершиться в нем та незаметная работа души, ума и сердца, результатом которой становится слово: «Чем ближе ночь, тем родина дороже».

Инна РОСТОВЦЕВА

ЗАМЕЧЕНО, что начальные представления о поэте имеют над нами подчас необъяснимую власть. Поэт далеко ушел от своих первых стихов, претерпел немало изменений, а мы все продолжаем мерить его старой меркой, изготовленной по первым книгам, первому впечатлению, первому суждению критики... И уж узка мерка, коротка, а мы все прикладываем ее и прикладываем... Лучший способ расстаться со стереотипами, с изжившими себя представлениями о поэте, видимо, прост: заново, бережно и медленно перечитать его, чтобы убедиться: он глубже, разнообразнее и неожиданнее, чем до сих пор тебе представлялся.

Тем более, что сами поэты время от времени дают нам такой повод: выпускают «Избранное», куда обычно включают лучшее из написанного ими за долгие годы. Таким поводом стало для меня и появление «Избранного» Станислава Куняева и вышедшей вслед за ним книги его критических статей «Свободная стихия».

Сегодня никого не удивит, тем, что поэт выступает в роли критика, историка литературы, публициста — автора свободно организованной в жанровом отношении «книжной стихии», где автобиографические заметки соседствуют с творческими портретами любимых поэтов — Лермонтова и Некрасова, Блока и Есенина, а рассказы о судьбах друзей из братских республик перемежаются выдержками из дневников и записных книжек.

Удивительно другое: размышления поэта не только не разошлись с образом его собственной поэзии (как это нередко случается), но более того — по моему убеждению, они-то и готовили, выстраивали, углубляли этот образ.

...Даже с первого взгляда нетрудно заметить, как они непохожи — безоговорочная, романтическая готовность обратиться в себя память дорог, людей и городов, раствориться в ней, «стирая черты единственного. «Я» — и грустное размышление о том, как сохранить в этом мире — и после смерти — свое «я»: «Если есть в человеке душа — да придет она после разлуки...».

Между двумя этими стихами, открывающими и завершающими «Избранное», как между двумя полюсами, пролегал творческий путь длиной в 20 лет. Прошумело время.

Быть может, самое трудное для поэта — получить движение, развитие в этом времени — то, что Блок называл чувством пути.

Сколько на наших глазах сломалось репутаций, однажды сложившихся и однажды распавшихся лишь только потому, что автор утратил способность к изменению, покотился по гладким рельсам «самоповторения» и «самодитирования».

С Куняевым этого не случилось.

Истоки его творчества неразрывно связаны с «громким» поколением, уверенно вошедшим в литературу в 50—60-е годы. Такие ранние куняевские